# Статьи. Теория и методология

Максим С. Фетисов
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия

# Политическая теория и онтология революции: Ленин, Гоббс и Спиноза

В статье рассматривается возможность применения интеллектуальных ресурсов политической теории к событиям русской революции. Еще в XVII веке основоположники современной политической теории очертили круг проблем, дилемм и противоречий, определивших не только ход развития ее самой, но и политической практики Современности. При этом революционная мысль, составляющая концептуальное обрамление событий русской революции, зачастую существует в режиме исключения, вне какой-либо связи с развитием остальной политической теории. Отчасти это связывается с уникальностью и невоспроизводимостью самого события революции; отчасти — с устоявшимся восприятием советского опыта как «белого пятна» в истории.

В статье делается попытка поместить тексты, составлявшие концептуальный каркас событий в России столетней давности, в понятийный горизонт современной политической теории, выдвигается гипотеза о связи представлений «отцов-основателей» советского государства с проблемным полем политической теории Модерна. Дается определение «ленинизма» как инструментальной доктрины, связанной с нововременными представлениями о государстве. На примере конфликта между возглавляемой партией «диктатурой пролетариата» и «спонтанной» формой массовой политической организации, такой как Советы, рассматривается кризис, с которым столкнулся учредительный импульс революции. Показана связь данного кризиса с нововременными теориями государства, суверенитета и учредительной власти.



Фетисов Максим Сергеевич — кандидат философских наук, Центр социальной теории и политической антропологии им. Н.Н. Козловой философского факультета Российского государственного гуманитарного университета. Научные интересы: политическая философия, теории социального порядка, социальная антропология и этнография советского общества. E-mail: msfetisov@gmail.com
Maxim S. Fetisov — PhD in Philosophy, Natalia Kozlova Center for Social Theory and Political Anthropology at the Faculty of Philosophy of the Russian State University for the Humanities. Scientific interests: political philosophy, theory of social order, social anthropology and ethnography of Soviet society. E-mail: msfetisov@gmail.com

Делается попытка связать проблемное поле этих теорий с вопросом организации, так занимавшим теоретиков (и практиков) большевизма.

В заключение высказывается предположение, что задача установления социального порядка средствами радикальной политики в массовом обществе вызвала к жизни дилеммы, с которыми и по сей день приходится сталкиваться сегодняшним политическим теоретикам, пытающимся осмыслить практику современных демократических движений.

*Ключевые слова:* революция, суверенитет, демократия, диктатура, учредительная власть, Ленин, Гоббс, Спиноза, массы

***Maxim S. Fetisov, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia***
***Political theory and ontology of the revolution: Lenin, Hobbes and Spinoza***

The article examines the possibility to apply political theory to the events of the Russian revolution. In the 17th century, the founders of modern political philosophy outlined some problems, dilemmas and contradictions that determined not only the course of theoretical development, but the political practice of modernity as well. At the same time, revolutionary thought, which functions as a conceptual framing for the events of the Russian revolution, is often placed in a kind of theoretical exclusion. The article attempts to place some of these texts in a horizon offered by the founders of modern political theory. The article strives to define "Leninism" not as a doctrine, but as a specific political technique related to the concept of the state formulated at the dawn of modernity. The case of the conflict between the "dictatorship of the proletariat" and the "spontaneous" form of a mass political organization (the Soviets) highlights the basic crisis of the Russian revolution. The paper tries to explicate the connection of this crisis with the modern theories of the state, sovereignty and constituent power. Also it attempts to relate the problematic of these theories to the question of organization that puzzled the thinkers of Bolshevism. Article concludes with the suggestion that the task to establish a social order by means of radical politics in a mass society that undergoes a radical transformation has brought to life the dilemmas which political theorists trying to comprehend the practice of nowadays democratic movements have to deal with.

*Keywords:* revolution, sovereignty, democracy, dictatorship, constituent power, Lenin, Hobbes, Spinoza, the masses

doi: 10.22394/2074-0492-2017-4-8-35



## Вступление: забытая дата

**Столетие революции 1917 года оказалось «забытым юбилеем». Возможно, опасаясь вызвать раскол в обществе памятью о «неоднозначном» событии, возможно, просто не желая поднимать действительно сложную и неудобную тему, российское государство предпочло не обратить внимания на круглую дату. Некоторое исключение было сделано массовой культурой: телевизионные сериалы и интернет-проекты пытались представить революцию в виде**

«развлечения»: то ли как острый сюжет, то ли как социальное медиа, где можно отождествить себя с героями событий столетней давности.

Однако обсуждение их вероятных достоинств — вопрос отдельного рассмотрения. Единственной попыткой «серьезно» отнестись к юбилею стали неоднократные пожелания президента Путина сначала историкам, а потом и всему обществу дать событию революции «объективную оценку». Оставив рассуждения, возможна ли в принципе подобная оценка, профессионалам — историкам и теоретикам организации исторического познания — попробуем провести мысленный эксперимент: давайте представим, что такая «объективная оценка» действительно возможна. В таком случае неизбежно возникает вопрос о средстве (или инструменте) подобной объективации. Какая теоретическая оптика помогла бы решить эту задачу? С тех пор, как память о прошлом стала все острее осознаваться в качестве объекта политических манипуляций, историческая наука постоянно занимается рефлексией условий собственной возможности. Поэтому попытки сконструировать большие исторические нарративы, которые могли бы бесконфликтным образом включить в себя историю событий столетней давности, выглядят проблематичными. Это, конечно, не отменяет важности конкретного исторического анализа: обнаружение новых источников и исследование новых объемов данных позволяет увидеть свежую перспективу в действиях их участников.



На роль такого инструмента, позволяющего наблюдать события в обширной (и длительной) сравнительно-исторической перспективе, долго (и небезуспешно) претендовала макросоциология [Скочпол, 2017]. Картина революции как история столкновения больших переменных или как результат развития циклов накопления, чье существование не зависит от человеческой воли и желаний, очень важна — она дает отчетливое видение структурных ограничений, всегда лежащих в основе человеческого действия. Однако ни одна из упомянутых альтернатив, ни конкретный анализ исторических событий, ни исследование движения больших структур, не дают полного понимания *смысла*, вкладывавшегося в события его непосредственными участниками. Первый чрезмерно поглощен чередой событий и конкретными обстоятельствами, второе — описанием декораций, в которых разворачивается историческая драма.

Этот смысл пытался найти свое выражение в многочисленных написанных ими текстах (иногда по поводу, иногда теоретических) и произнесенных речах, которыми участники событий сопровождали свои действия, изменившие ход глобальной истории. В них содержались представления о человеческой природе, об устройстве общества, о демократии, о том, как должно выглядеть общее благо. Большинство из них оказалось забыто, но некоторые существенным образом определили дальнейшее развитие политической мысли.

Мы можем подойти к анализу событий столетней давности со стороны политической теории. Именно политическая теория Нового времени, как она была задумана ее основоположниками, с одной стороны, определила (и по сей день существующие) границы и возможности современного мышления о политике. С другой стороны, достаточная дистанция, отделяющая XVII век от семнадцатого года, могла бы помочь сконструировать оптику, рассмотрения, чьим предметом станут события и сопровождающие их тексты столетней давности. Сама подобная постановка вопроса может вызвать недоумение: как могут быть связаны политическая философия Нового времени и Октябрьская революция, радикально порвавшая с прошлым и провозгласившая начало новой эпохи? А.Ф. Филиппов справедливо указывает на проблемы интерпретации, сопутствующие каждой из традиций. Если вызванный к жизни революцией язык описания социальной реальности перегружен «притязаниями на особую достоверность», что превращает его в семантическую ловушку как для его сторонников, так и для его противников даже тогда, когда сама описываемая им реальность давно стала достоянием истории, то язык политической философии был наоборот подвергнут чрезмерной «стерилизации» и лишен конкретного содержания [Филиппов, 2018]. Между тем подавляющее большинство великих политико-философских текстов представляет собой интервенции в ту или иную политическую конъюнктуру. Вмешиваясь, они пытались дать ответ на тот или иной «жизненный» вопрос, имевший универсальное значение, например, пытались решить проблему порядка. Но разве не с тем же самым приходилось иметь дело и текстам революционной традиции, которые тоже всегда были укоренены в «текущем моменте»? А что такое революция, как не вставшая в полный рост проблема конструирования нового порядка? Актуальная задача, стоящая перед нами, — дать этим двум языкам встретиться, чтобы в столкновении они могли раскрыть свое универсальное содержание.



## Революция как проблема

В течение восьми месяцев 1917 года Россия из сословной самодержавной монархии превратилась в диктатуру пролетариата. Автор двухтомной «Истории русской революции» пишет:

> В первые два месяца 1917 года Россия была еще романовской монархией. Через восемь месяцев у кормила стояли уже большевики, о которых мало кто знал в начале года и вожди которых, в самый момент прихода к власти, еще состояли под обвинением в государственной измене. В истории не найти второго такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идет о нации в полтораста миллионов душ. Ясно, что события 1917 года, как бы к ним не относится, заслуживают изучения [Троцкий, 1997, с. 27].

Темпоральные сжатия, подобные тому, что описаны в приведенной цитате, когда история словно попадает в режим ускоренной перемотки, не являются для политической теории новостью. Ее основоположник Макиавелли, описывая современные ему политические потрясения, использует выражение mutazione di stato, восходящее еще к древнему mutatio rerum [Макьявелли, 2006, с. 296]. Макиавелли в mutazione видит не привычный, наследующий природе круговорот вещей, а исторический процесс, на который можно воздействовать силой мысли и силой оружия [Negri, 1999, p. 38-39].

Так появляется действительно новая для политической мысли идея организации политического сообщества ex novo. Субъект этого процесса — суверенная фигура Государя, воплощающая в себе отношение между силой или доблестью (virtu) и mutazione[1] как моментом времени, когда сила этого суверенного субъекта может оказать влияние на политический цикл, именуемый Макиавелли fortuna. Здесь важен отмеченный Макиавелли продуктивный учредительный характер этой силы, ее способность конституировать социальный порядок, когда благоприятная конъюнктура или, выражаясь языком Ленина, «текущий момент», сводит virtu и fortuna вместе. «Новый князь создает государства», сообщает знаменитый историк Джон Покок [Pockock, 1975, p. 198]. Однако построения Макиавелли утопичны, они опираются лишь на силу воображения, тогда как современные ему республики слабы и погружены в междоусобные дрязги, а подлинный государь, искомый политический субъект, от чьего имени стремится говорить Макиавелли, субъект, способный объединить Италию, еще не существует. Макиавелли в «Государе» предстает не столько провозвестником современного национального государства, сколько теоретиком полного отсутствия каких-либо условий его возникновения [Althusser, 1999, p. 121].



Для mutazione 1917 года принципиально новыми были не только ее скорость и обвальный характер, но и прежде невиданное участие тех, кого Макиавелли именовал moltitudine[2]. На них он напрасно рассчитывал, будучи секретарем Флорентийской республики, но при этом совершенно справедливо видел в них силу политики будущего: «Наиболее бесспорной чертой революции является вмешательство масс в исторические события», опять сообщает нам историк [Троцкий, 1997, с. 27]. Fortuna сначала благоволила большевикам. Они сумели воспользоваться «текущим моментом» лучше секретаря Флорентийской республики. Однако последовавшая за-

1 На русский обычно переводят как «преобразование», «изменение», «перемена государственного строя».

2 Устойчивого перевода на русский язык не существует. В работах Макиавелли обычно переводят как «толпа», «народ», «массы», «большинство».

тем кровопролитная Гражданская война завершилась установлением жестокой партийной диктатуры, предопределившей облик русской современности. Вряд ли эти массы из приведенной выше цитаты Троцкого, с таким энтузиазмом включившиеся в революцию, в «область управления своими судьбами», желали для себя подобного исхода. Обязателен ли он? Что соединяет массовое желание свободы с не самыми лучшими формами социального порядка, возникающими на его руинах? Следовательно, основная проблема политической теории революции формулируется так: почему коллективные действия завершаются не самым оптимальным выбором?

## Ленинизм как технология: против машины государства

Революцию 1917 года обычно связывают с именем Ленина и его специфической интерпретацией работ Карла Маркса, позже получившей имя «ленинизма». Принято считать, что окончательная формулировка понятия ленинизма была дана в марте 1924 года Сталиным [1950, с. 71]. Примерно в это же время (немного ранее и скорее всего совершенно независимо) попытку изложения мыслей Ленина как последовательной системы взглядов предпринял Г. Лукач. Но если для философа Лукача ленинизм означал максимально близкое сближение исторического материализма с «повседневной борьбой пролетариата», выраженное в прагматическом призыве «изучать Ленина, как Ленин изучал Маркса» [Лукач, 1990, с. 129–130], то Сталину нужна была доктрина, вписывающая его самого в некую сконструированную традицию освободительной борьбы [Lazarus, 2007, p. 257]. Так «ленинизм» стал важным символическим элементом специфической конструкции советского суверенитета [Yurchak, 2015, p. 133–134]. Парадоксальным образом сформулированная Сталиным доктрина не только помогла ему установить режим единоличной власти, но и способствовала разоблачению «культа личности» после его смерти, а также позднейшим волнам десталинизации [Ibid., p. 134–135].

Интерес, однако, представляют не содержательные перипетии истории марксистско-ленинского учения, а «ленинизм» как определенное представление о государстве. Попробуем уяснить, что представляет собой Ленин именно с этой точки зрения. В свое время Карл Шмитт назвал Гоббса основоположником представления о государстве как о «грандиозной машине», о «нейтральном, техническом инструменте» [Шмитт, 2006, с. 162]. Ничего неизвестно о том, читал ли Ленин Гоббса, но можно попробовать предположить, что аналогичное представление стояло за его идеей о возможности разрушения и захвата этой машины. Поэтому необходимо прояснить инструментальный смысл «ленинизма», но уже не как основанно-

го Сталиным учения, а как определенной технологии завоевания и удержания власти[1]. Такой «ленинизм как технология» состоит из трех компонентов, отвечающих трем историческим этапам эволюции политической мысли самого Ленина.

Во-первых, Ленин анализирует материальную и политическую композицию пролетариата в Российской империи. В своих ранних работах, разбирая структурную динамику русского капитализма, он выявляет ее важнейшую детерминанту: состав пролетариата указывает на конституирование потенциально субверсивной общественной силы [Negri, 2014, p. 15-26]. Русский пролетариат относительно немногочислен, но размещен в важных хозяйственных и политических центрах империи (прежде всего в столицах), он обладает очень высокой степенью концентрации, которая обусловливает его высокую степень его автономии, выражающейся в готовности к борьбе, и способности к самоорганизации:

> История русской революции показывает нам, что именно авангард, отборные элементы наемных рабочих вели борьбу с величайшим упорством и с величайшим самопожертвованием. Чем крупнее были заводы, тем упорнее протекали забастовки, тем чаще повторялись они в одном и том же году. Чем больше был город, тем значительнее была роль пролетариата в борьбе [Ленин, 1973, с. 312–313].



В-вторых, все эти субверсивные потенции нового класса носят «спонтанный» характер, а потому требуют «субъективного» усиления. Чем? Столь же высокоорганизованной партией, исполняющей функцию, как позже напишет Лукач, словно цитируя Руссо, «общей воли пролетариата» [Лукач, 2003, с. 382]. Организационно партия является политическим отражением этой экономической борьбы, ведущейся пролетариатом. В рамках такой социальной онтологии экономика и политика все еще разделены, поэтому партия может выступать представителем этого подрывного субъекта.

И, в-третьих, переход от теории организации к стратегии революции опирается на коммунистическое содержание самого проекта, подразумевающего упразднение всей совокупности предшествующих общественных отношений [Ленин, 1969b]. Таким образом, смысл ленинизма заключен в возможности установить соответствие между существующей технической композицией производительного труда и формами политической организации [Negri, 2014, p. 36]. Исследуя структурную динамику русского капитализма, Ленин выделяет в нем доминирующую политическую составляющую — это проле-

1 См. интересную попытку концептуализации ленинизма как формы суверенного господства и системы институтов у [Бри, 2017].

тариат. Именно его текущее положение и техническая композиция, выражаясь словами Альтюссера, «детерминируют в конечном счете» социальный порядок российской империи [Альтюссер, 2006, с. 182], именно они делают возможной трансляцию его спонтанной борьбы в форму революционной организации, которая рано или поздно, воспользовавшись текущим моментом, сокрушит «машину подавления», государство. Поэтому организационный вопрос превращается в предмет столь яростных баталий и становится не только политической, но чуть позже и философской проблемой. Вопрос политической организации выражает определенную социальную онтологию.

Обычно Ленина принято считать теоретиком «слабого звена», «империализма как последней стадии» и т. п., то есть мыслителем объективных условий непременного краха капитализма, однако здесь перед нами своеобразная теория политического субъекта. Это субъект раздвоенный, рассеченный надвое: он разорван между «привнесенным», идеально-типическим «классовым сознанием» и актуальной, «спонтанной» жизнью масс. Это субъект-кентавр: партия отвечает за стратегическое руководство, а спонтанная энергия направляемых ею масс определяет тактические решения. Остается только решить задачу, известную еще Макиавелли, — определить правильную пропорцию силы и стратегического «благоразумия» [Hardt, Negri, 2017, p. 15-16]. Позже Лукач доведет эту линию парадоксальной двойственности до утонченных философских высот:



> Партия ... превращает свои требования в активную действительность, она вносит в спонтанное движение масс присущую ему истину, поднимая это движение от экономической необходимости его возникновения до свободы его сознательного действия [Лукач, 2003, с. 141][1].

## Советы: демократия и диктатура. Фатальный компромисс

Дело, однако, обстоит не так просто. У этой раздвоенной конструкции существует обратная сторона, названная Ханной Арендт [2011, с. 355] «странной и грустной историей, которая не должна быть забыта». Ее сюжет в том, что русская революция вызвала к жизни свою собственную разновидность учредительной власти: Советы. Эта имманентная политическая форма возникла именно на «спонтанной» стороне русской революции:

> В огне борьбы образовалась своеобразная массовая организация: знаменитые *Советы рабочих депутатов*, собрания делегатов от всех фабрик.

1 Пер. С. Поцелуева

> Эти *Советы рабочих депутатов* в нескольких городах России все более и более начинали играть роль временного революционного правительства, роль органов и руководителей восстаний... [Ленин, 1973, с. 322].

По правде говоря, сами по себе Советы не были специфически русским изобретением: история знает солдатские советы в гражданскую войну в Англии, Люксембургскую комиссию во время событий 1848 года, презрительно названную Марксом «социалистической синагогой», а также Совет Парижской коммуны. Маркс относился скептически к попыткам учреждения рабочего самоуправления в условиях тотального доминирования капиталистических отношений, тем не менее в Парижской коммуне он видит первую попытку установления рабочей власти, имеющую своей целью полное упразднение государства. Однако именно в ходе событий первой русской революции Советы (неожиданно) приобретают совершенно особое значение [Дунаевская, 2011, с. 222]. Вот как Ленин формулирует главное противоречие революции 1905 года:

> Своеобразие русской революции заключается именно в том, что она была по своему социальному содержанию буржуазно-демократической, но по средствам борьбы была пролетарской... [Ленин, 1973, с. 311].



То, о чем говорит Ленин, много лет спустя Хабермас назовет «догоняющей революцией». Он определяет ее как «конституционно-политическую привязку» к наследию буржуазных революций [Хабермас, 2005, с. 147-149]. Хабермас прибегает к метафоре «обратной перемотки», напоминая тем самым об исходной двусмысленности самого понятия революции, которое до того, как стало обозначать радикальное событие исторического разрыва, учреждающего эпоху ex novo, описывало возврат неких изначальных, но кем-то попранных прав [Habermas, 1973, p. 83]. Хабермас, рассуждающий о трансформациях, начавшихся в 1989 году, как будто говорит, что дух реставрации присутствует в любом, даже самом радикальном революционном событии. Даже в том случае, когда никаких изначальных, а затем отнятых узурпаторами прав в реальности не существовало, призрак Glorious Revolution будет следовать за любым, сколь угодно радикально новым началом. Основной конфликт русской революции, говорит Ленин, заключается в том, что пролетариату (довольно малочисленному, но неплохо организованному, а потому обладающему достаточной автономией) приходится иметь дело с задачами, которые уже давно должна была решить, но не решила (в силу своей слабости, нерешительности, склонности к компромиссам и политической несамостоятельности) буржуазия:

> Буржуазия именно того и хочет, чтобы власть перешла к ней «мирно», *без народного восстания,* которое может, пожалуй, победить, завое-

> вать республику и настоящую свободу ... это именно то, что нужно для буржуазного предательства революции, для сделки с царем... *против* «черни [Ленин, 1960, с. 17].

Важно здесь именно то, что данное противоречие порождает не только особую интенсивность борьбы рабочих, но и политические формы их самоорганизации. Никто, большевики в том числе, не ожидает такого развития событий. Ленин, изучая композицию рабочего класса с «технической» и «политической» точек зрения, обнаруживает, что капиталистические предприятия — это локусы «спонтанного» сопротивления пролетариата [Negri, 2014, p. 36]. Противоречия экономического развития сами выступают в роли социальной фабрики по производству нового, субверсивного субъекта. Однако Ленин убежден, что одной лишь «спонтанной борьбы» недостаточно для политической артикуляции интересов рабочего класса. К моменту написания «Что делать?» он приходит к выводу, что решить этот вопрос может только иерархически построенная организация — «партия нового типа». Однако возникновение Советов оказывается главным непреднамеренным последствием революции, и после 1905 года революционная социал-демократия сталкивается с необходимостью практической и теоретической интеграции нового политического опыта. Когда после февраля 1917 года Советы вновь начинают стихийно возникать уже повсеместно, большевики оказываются в уже по-настоящему затруднительном положении: какую выбрать по отношению к ним стратегическую линию? Партийная мысль в это время поглощена диалектикой Советов и партии.



С одной стороны, такой мощный всплеск учредительной власти невозможно игнорировать. С другой — государство теперь находится в руках буржуазии, а Советы, по мнению Ленина, не обладают достаточной мощью и в новых условиях могут стать легкой добычей буржуазной демократии. Поэтому их нужно поставить под контроль партийного авангарда (этой, по мнению Ленина, подлинной учредительной власти, сочетающей в себе проект, силу и видение будущего), сделав оружием революции. Ведь стать органом по-настоящему рабочей власти, настоящей демократии, Советы смогут только после завоевания пролетариатом абсолютной власти, после того, как диктатура рабочего класса сокрушит только что возникшее буржуазное государство, эту новую «машину подавления»:

> Буржуазная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и обучения его к борьбе бесспорна, ... всегда остается демократией для богатых, обманом для бедных... Только Советская Россия дала пролетариату и всему гигантскому трудящемуся большинству России невиданную, невозможную и немыслимую ни в одной буржуазной демократической республике *свободу и демократию,* ... заменив буржуазный парламентаризм демократической организацией *Советов, в 1000*

> *раз* более близких к «народу», более «демократичных», чем самый демократичный буржуазный парламент [Ленин, 1969а, с. 104–105].

Побеждает ситуативный тактический компромисс [Negri, 1999, p. 292]: демократическая самоорганизация может иметь смысл как орудие борьбы, однако свое подлинное предназначение как учредительная власть Советы смогут раскрыть лишь после установления диктатуры пролетариата, в условиях господства капиталистических отношений их значение стремится к нулю. Ситуация двусмысленна: Советы есть одновременно «стихийная» форма организации политического сообщества и инструмент установления партийной диктатуры. В 1921 году эта двойственность и ее недооценка большевиками оборачиваются кровавым противоречием. Если вплоть до этого времени проблема демократии (Советов) и диктатуры воспринимается большевиками в горизонте, очерченном «Государством и революцией», в горизонте скорейшего «отмирания государства», то восстание в Кронштадте знаменует собой момент, когда демократия (Советы) и «диктатура пролетариата» сталкиваются друг с другом в непримиримом антагонизме.



Если предшествовавшие восстанию события Гражданской войны без особых проблем могли быть описаны в терминах классовых противоречий, неизбежно сопровождающих борьбу за установление *подлинной* свободы, *подлинной* демократии, которая и есть Советская власть, то Кронштадт — это первый по-настоящему *внутренний* кризис республики, который невозможно без натяжек и искажений описать на языке борьбы классов. Кронштадтский кризис привел к коррекции внутренней политики. Впервые большевикам пришлось признать наличие в системе альтернативных интересов и предоставить им возможность (хотя бы) экономической артикуляции. Однако это тактическое отступление никак не поколебало мощь партии, этого нового коллективного суверена [Anweiler, 1974, p. 252]. Было ли это столкновение неизбежным? Однозначного ответа на этот вопрос никто, разумеется, не даст, однако его стоит поискать у двух самых и по сей день влиятельных критиков большевизма: у Макса Вебера и Розы Люксембург [Negri, 1999, p. 294–295]. При всех различиях их критика, как ни странно, похожа.

Начиная с 1905 года Вебер внимательно следит за событиями в России. Он наблюдает невероятными темпами развивающийся капитализм, который никак не может обрести собственной политической формы [Negri, 1999, p. 293]. Существующий автократический режим с задачей обнаружения такой формы справиться не в состоянии. То, что можно было бы по аналогии с Францией назвать «третьим сословием», слишком слабо и несамостоятельно, будучи зажато в тиски между устаревшей государственной машиной и бунтующими массами, которые и есть одновременно настоящая, не ведающая никаких границ

опасность и мотор иногда случающихся со стороны правящего класса уступок. Именно поэтому 1905 год оказывается переходом к псевдоконституционализму, а февраль 1917-го — к псевдодемократии [Вебер, 2007; Negri, 1999, p. 293]. В России отсутствует достаточно развитое «гражданское общество» в гегелевском смысле этого слова, которое могло бы взять на себя функции медиатора антагонистических сил и модерировать происходящие преобразования. Эту пустоту можно заместить лишь искусственно, например «партией», а значит, путь диктатуры оказывается неизбежен и предопределен. А если вы строите монопольный аппарат насилия, то есть государство (только с революционной партией в роли суверена) для управления обществом, которое уже сложилось как массовое, то вам для управления политикой и экономикой неизбежно понадобятся профессиональные администраторы [Филиппов, 2006, 14-18]. Это значит, что неизбежно появление бюрократии [Вебер, 2003, с. 335].[1] Именно поэтому является полной утопией предложенный Лениным в «Государстве и революции» радикально-демократический проект разрешения трагической судьбы Современности: отчуждающее давление «железной клетки» инструментальной рациональности не сможет преодолеть даже социальная революция, чьей целью является абсолютное преобразование самого понятия о разумном общественном устройстве. Более того, при отсутствии противовеса в лице мощного плюралистического общества она это давление только усилит:



> Разница в том, что против государства забастовки невозможны, а, значит, зависимое положение рабочего при государственном социализме такого типа значительно усиливается [Вебер, 2003, с. 319].

Если Вебера занимает исследование условий возможности (точнее невозможности) появления такой общественной силы, которая обеспечила бы сосуществование экономического развития и демократии, то Роза Люксембург стремится увидеть ситуацию изнутри, следуя разворачивающейся логике событий, как она представляется самим большевикам. С ее точки зрения, они совершили невиданный в мировой истории переворот — отдали в руки масс всю полноту власти. Однако очень сильное внутреннее (аграрный и национальный вопросы) и внешнее (вопрос о мире) давление вынуждают большевиков к ряду институциональных компромиссов, чья роль в судьбе революции оказывается фатальной. Из тактических уступок эти компромиссы превращаются в непреодолимые ограничения и вынуждают большевиков развязать войну против и так ослабленного мировой войной и раздираемого внутренними противоречиями общества, принудительно ограничив его свободное развитие:

1 Детальное рассмотрение проблемы «Вебер и 1917 год» см. [Дмитриев, 2017].

> ...они [большевики] проявили весьма холодное пренебрежение ... ко всему ареалу основных демократических свобод для народных масс, образующих в совокупности «право на самоопределение» для самой России... [Люксембург, 1991].

Это полностью противоречит исходному смыслу революции, состоявшему как раз в том, что именно суверенитет должен стать слугой завоеванной демократии, но никак не наоборот:

> Эта диктатура заключается в способе *применения* демократии, а не в ее упразднении ... эта диктатура должна быть делом *класса,* а не небольшого руководящего меньшинства от имени класса, т. е. она должна на каждом шагу исходить из активного участия масс... [Там же].

В отличие от большевистских теоретиков противоречия между «спонтанностью» и «организацией» для Розы Люксембург не существует. Любые организованные формы, в том числе суверенные и чрезвычайные, легитимны только в том случае, если являются продуктом живого стихийного развития общественных сил, не подлежащих принудительному ограничению. Критику Вебера и Люксембург объединяет понимание того, что большевики явно переоценили степень развития общества в России. Отсутствие социальных сдержек и противовесов вкупе с сильнейшим внешним давлением превратили невиданный в истории демократический порыв масс в историю бюрократической диктатуры. Так партия большевиков спустя 400 лет оказалась в положении Макиавелли: безусловное стремление к свободному развитию не совпало с собственными условиями возможности.



## Учредительная власть и война: Шмитт и Гоббс

Выше мы рассмотрели, почему Ленина можно считать изобретателем опирающегося на массовые движения метода захвата и разрушения современного государства [Negri, 2014, p. 92]. Структура его трехчастна.

1. Обнаружение средствами теории в структуре общества массового субъекта, обладающего «спонтанным» субверсивным потенциалом в конкретных условиях «текущего момента».
2. Политическая артикуляция этого потенциала — организация партии, претендующей на право репрезентации «общей воли» этого массового субъекта. Сам агент артикуляции при этом должен быть организационно изоморфен субъекту, от имени которого выступает.
3. Установление суверенного господства от имени этого субъекта — «диктатуры пролетариата» как необходимого инструмента упразднения появления любой дальнейшей возможности учреждения какого-либо государственного суверенитета.

Для этого необходима трансформация социальных отношений, которая приведет к «отмиранию государства».

Общеизвестно, что реализация третьей части не продвинулась дальше установления собственно «диктатуры». С самого своего начала революция, понимаемая как сознательная реализация рациональной программы всеобщей эмансипации, столкнулась с внезапным появлением стихийно возникшего в рабочей среде демократического элемента, также претендующего на политическую артикуляцию массовых интересов: Советов. Годы революции и Гражданской войны проходят под знаком столкновения этих двух элементов: суверенного и демократического, пока в итоге баланс надолго не смещается в пользу первого. Демократический элемент не исчезает полностью, став даже частью названия государства, возникшего по итогам Гражданской войны. Что означает это столкновение? Это продукт контингентности исторического развития или за ним скрывается долгая история политической рациональности Модерна? Ведь за идеями Ленина о диктатуре стоят вполне нововременные представления о государстве как о «машине». Необходимо дополнительно рассмотреть проблему взаимосвязи между диктатурой и демократией. Карл Шмитт, которому мы обязаны обстоятельным исследованием проблемы, описывает большевиков так:



> Можно заметить, что, с точки зрения всеобщего учения о государстве, диктатура отождествляющего себя с народом пролетариата как переход к такому экономическому состоянию, когда государство отмирает, подразумевает понятие суверенной диктатуры [Шмитт, 2005, с. 227].

Шмитт отсылает к временам Французской революции, когда политико-правовая конструкция «суверенной диктатуры» была впервые введена в оборот и предлагает следующее ее функциональное определение:

> Суверенная диктатура весь существующий порядок рассматривает как состояние, которое должно быть устранено ее акцией. Она не *приостанавливает* действующую конституцию, ... а стремится достичь состояния, которое позволило бы ввести такую конституцию, которую она считает истинной... [Там же, с. 158].

Возникший парадокс требует разрешения, и чтобы не ставить под угрозу требующееся Шмитту «правовое рассмотрение», необходимо понять, что стоит за тотальным конституционным отрицанием, которым оперирует суверенная диктатура. Для этого нужно

> допустить существование такой инстанции, которая, не будучи сама учрежденной конституционно, тем не менее находится в такой связи с любой действующей конституцией, что выступает в качестве фунди-

> рующей власти, даже если сама она никогда не охватывается ею... *В этом состоит смысл учредительной власти* [Там же, с. 158–159. — *Курсив авт.*].

Кто в таком случае выступает субъектом этой pouvoir constituant? Ответ на этот вопрос Шмитт находит у главного «популяризатора» этого понятия, автора памфлета о «третьем сословии» аббата Сийеса[1]. Согласно ему, учредительная власть «принципиально неограниченна и может делать абсолютно все, поскольку она не подчиняется конституции, а сама ее поставляет. Здесь совершенно немыслимо никакое принуждение, никакая правовая форма и никакое самоограничение, ... там, где господствует volonte generale Руссо, недействительными становятся и неотчуждаемые права человека. Народ как обладатель учредительной власти не может ограничивать себя и вправе в любое время установить для себя любую конституцию» [Там же, с. 161].

Народ, по Сийесу, выступает носителем абсолютного суверенитета, поэтому сам он находится вне какой-либо конституционной логики. Представители, избираемые от его имени, являются именно представителями, а не обладателями властных мандатов. Материальная конституция нации, согласно Сийесу, имеет экономический характер: она состоит из machines de travail, «рабочих машин», у которых нет времени на занятия политикой, однако есть потребность в политическом представительстве [Там же, с. 164]. Шмитт эксплицирует в тексте Сийеса важную связку между хозяйственной деятельностью (трудом) и требованием политического участия, которая в полную силу заявит о себе в последующих революциях. В революционной онтологии Сийеса этот новый коллективный субъект обладает практически неограниченными (и в том числе чрезвычайными) полномочиями:

> Народ, нация — изначальная сила всякого государственного образования — учреждает все новые и новые органы... Нация может хотеть чего угодно... Она никогда не учреждает самое себя, но всегда что-то другое... *Нация всегда пребывает в естественном состоянии*, гласит знаменитое изречение Сийеса [Там же, с. 163–164. — *Курсив авт.*].

Эта формулировка отличается от естественно-правовых конструкций, в соответствии с которыми естественное состояние логически предшествует *учрежденным* политическим общностям (например, «народу»). Единицей современного юридического мышления является именно изолированный «равный» и «свободный» индивид, а не коллективные субъекты вроде классов или наций [Balibar, 1977, p. 68]. Фактически «народ» или «нация» при всем своем могуществе

1 При этом Шмитт опускает специфическую «философию истории» Сийеса. Подробнее об этом см. [Филиппов, 2005, с. 314].

оказываются у Сийеса за рамками правового рассмотрения. Нововременная юридическая идеология, представляющая государство нейтральной могущественной машиной согласования интересов, как бы вытесняет их в естественное состояние, оставляя себе только «индивидов». Шмитт обращает внимание на это противоречие:

> Но для учения о естественном состоянии было важно и то, что в таком состоянии существуют только *индивидуумы*... В естественном состоянии находится только нация, у нее есть только права и никаких обязанностей, учредительная власть ничем не связана; напротив, учреждаемые власти имеют только обязанности и никаких прав [Там же, с. 164. — *Курсив авт.*].

Здесь Шмитт следует Гоббсу, чью индивидуализированную конструкцию естественного состояния он заимствует. С точки зрения самого Гоббса учредительная схема Сийеса должна выглядеть странно. Вспомним знаменитые формулировки:

> ...опасным для всякого государственного правления ... является недостаточно четкое отличие *народа* (populus) от *толпы* (multitudo). Народ есть нечто единое, обладающее *единой волей* и способное на *единое действие*. Ничего подобного нельзя сказать о толпе. Народ правит во всяком государстве, ибо и в монархическом государстве повелевает народ, потому что там воля народа выражается в воле одного человека [Гоббс, 1989, с. 395].



Гоббс весьма недвусмысленно полагает, что для того чтобы помыслить «народ» в качестве учредительного субъекта, требуется его политическая артикуляция в той или иной форме репрезентации:

> Масса (multitudo) же — это граждане, то есть подданные. При *демократии* и *аристократии* граждане — это *масса*, но *собрание* (curia) — это уже *народ*. И при *монархии* подданные — это *толпа*, а, как это ни парадоксально, *царь* есть *народ* [Там же].

Народ как носитель коллективной, солидарной воли может быть конституирован только *в процессе* подобной артикуляции, например присягнув государю или заключив взаимное соглашение. Именно поэтому, в логике Гоббса, народ не может восстать против государства, в этом случае он опять становится multitudo, возвращаясь в естественное состояние [Там же, с. 334–335; 395–396]. Возникающий суверенитет абсолютен и неделим:

> если та же масса поименным голосованием согласится на что-то, то воля какого-то одного человека либо согласные друг с другом воли большинства граждан будут считаться волей их всех, в таком случае возникает одно лицо, ибо оно обладает волей, а потому способно на произвольные действия, такие как повелевать, созидать законы,

> приобретать и переносить право и проч. В таком случае чаще говорится о народе, чем о массе [Там же, с. 334].

Социальный порядок вне подобной артикуляции непредставим, так как в противном случае:

> для массы, еще не слившейся вышеназванным способом в одно лицо, сохраняется то *естественное состояние,* когда все принадлежит всем и еще не существует *твоего* и *моего, ...* ибо еще не существует той безопасности, которая ... требуется для исполнения естественных законов [Там же, с. 335].

В естественном состоянии существуют только массы (dissoluta multitudo), в нем отсутствуют права собственности и гарантии транзакций. Здесь кипят страсти, всегда чреватые насилием:

> невозможно отрицать, что естественным состоянием людей до объединения в общество была *война*, и не просто война, а *война всех против всех* [Там же, с. 291. — *Курсив авт.*].

Таким образом, с точки зрения Гоббса, война служит базовым критерием наличия социального порядка: в естественном состоянии невозможно представить существование учредительной власти. Помещая «нацию» в качестве изначальной инстанции конституирования политической общности в естественное состояние, Сийес вводит идею войны в понятие учредительной власти, окончательно легитимировав идею «насильственной революции» [Ленин, 1969b, с. 16–22]. Теперь война — это не то, что должно быть изгнано при переходе к гражданскому состоянию, а всегда-присутствующая-возможность.



Необходимо заметить, что идея крушения социального порядка как всегда актуальной возможности, которую Антонио Негри назвал «горизонтом войны», не была чужда отцам современной политической теории [Negri, 1991, p. 108–119][1], как и общее представление об антагонистической природе общественных отношений. Еще Макиавелли полагал disunione, общественный конфликт, конституционным мотором всякой республики [Макьявелли, 2006, с. 92]. Однако главной теоретической заботой основателей политической философии Нового времени было выяснение не только условий возможности гибели социального порядка[2], но и таких условий его воспроизводства и поддержания, при которых он может быть совмещен с максимально возможной индивидуальной свободой. Теоретическая и практическая

1 По проблеме «горизонта войны» см. также [Agamben, 2015]; то же в связи с Гоббсом см. [Филиппов, 2009a; Филиппов 2009b; Кильдюшов, 2016a].

2 О социальном порядке как структурной проблеме модерна см. [Кильдюшов, 2016b].

задача, оказавшаяся непосильной для творцов как французской, так и русской революций. Ведь что такое капиталистическое общество, как не перманентная война, только классовая, в которой государство служит инструментом подавления угнетенных классов:

> при капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и притом большинства меньшинством [Ленин, 1969b, с. 9].

Эта машина не позволяет угнетенным классам разжечь ответный огонь этой войны до нужной степени интенсивности, которая сделает возможным радикальное преобразование общественных отношений. Положить этому конец, отменить это «естественное» состояние то затухающей, то вновь разгорающейся войны, постоянно идущей за юридически «нейтральным» фасадом государства, может только диктатура, интенсифицирующая эту войну до степени открытого конфликта. При этом власть этого нового государства неделима и абсолютна: «от права нельзя отнять какую-либо долю» (non potest detrahi a jure quantitas)" [Шмитт, 2005, с. 158; Balibar, 1977, p. 66]. В этом смысле ленинские формулировки предельно экспансивного характера новой учредительной власти вполне созвучны шмиттовскому изложению:



> Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами. Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами [Ленин, 1969a, с. 245].

Популярный характер суверенитета здесь также претерпевает превращение, в котором мы наблюдаем старинное политико-правовое противоречие между народом как качественно неопределенным множеством, населением, и народом как носителем политической субъектности [Agamben, 2015, p. 50]. Противоречие, известное уже на заре Нового времени:

> Невнятное и абстрактное понятие «народ» нужно было устранить, но лишь затем, чтобы из конкретного понимания условий пролетарской революции могло возникнуть революционно-дифференцированное понятие «народ», понятие революционного союза всех угнетенных [Лукач, 1990, с. 66].

В этой новой «нации» место «третьего сословия» занимает руководимый диктатурой пролетариат как сила, чья роль в производстве общественного богатства имеет критическое значение [Ленин, т. 33,

с. 53][1]. При этом важно помнить, что в «Государстве и революции» речь идет не просто о том, чтобы заменить одну политическую форму другой, а трансформировать, переучредить саму общественную ткань, управляемую тотальным законом стоимости, сделать невозможным дальнейшее воспроизводство материальной конституции общества, базирующейся на частном характере присвоения коллективно произведенной прибавочной стоимости. Когда Троцкий говорит о невозможности превратить гражданскую войну в составную часть государственного режима [Троцкий, 1997, с. 220], в его устах это звучит очень противоречиво. Действительно, перманентная война классов не может стать основой нового «подлинного» общества, в котором будут разрешены все противоречия. Однако диктатура пролетариата, на которую возложена задача по формированию предпосылок возникновения такого общества, невозможна без такой войны как своего конститутивного момента. Здесь диктатура пролетариата как технология, вполне подходящая для построения государственного суверенитета, вступает в противоречие с объявленной целью «отмирания государства», которая не может быть достигнута без обращения к силам общества, освобожденным революцией. Это противоречие не дает никакого ответа на вопрос о том, каково должно быть верное соотношение между изначальным учредительным импульсом и возникшими на его основе институтами. Как мы видели выше, учредительная модель Ленина быстро столкнулась с жестоким внутренним кризисом: суверенитет и демократия не смогли прийти к взаимному балансу в новом обществе. Видимо, столкновения между Гоббсом и Сийесом недостаточно для того, чтобы разрешить это затруднение.



## Imperium и multitudo: решение Спинозы

Намек на выход из тупика дает опять Шмитт, когда в тексте «Диктатуры», пытаясь пояснить соотношение учредительной власти и учрежденных ею институтов, прибегает к еще одной аналогии из XVII века:

> теория Сийеса может быть понята только как попытка найти такую организующую силу, которая сама не может быть организована. Представление об отношении учредительной власти (pouvoir constituant) к власти учреждаемой (pouvoir constitue) имеет свою полную систематическую и методологическую аналогию в представлении об отношении порождающей природы (natura naturans) к природе порождаемой (natura naturata) [Шмитт, 2005, с. 163].

1 Анализ взаимосвязи марксистских и немарксистских представлений о государстве через фигуру суверенного насилия см. [Buck-Morss, 2000, p. 2–23].

Сам Шмитт не стал дальше развивать эту аналогию. Тем не менее на ней стоит остановиться подробнее. В ее основе лежит различение двух природ, проведенное Спинозой сначала в «Кратком трактате», а затем в «Этике» [Спиноза, 2006a, с. 36-37; 276]. Это различие между активным и пассивным моментами субстанции: между субстанцией как причиной, обладающей ничем не ограниченной мощью (potentia), и следствиями, единичными, отдельно существующими, ограниченными пространством и временем модусами. Как это различие преломляется в политической теории самого Спинозы? Спиноза следует Гоббсу в том, что суверенитет государства, его монополия на власть, должны носить абсолютный характер:

> для образования государства необходимо было только одно, именно: чтобы вся законодательная власть находилась у всех или нескольких, или у одного [Спиноза, 2006b, с. 226].

Однако конструкция этого абсолюта имеет иной, более динамичный характер. Суверенные права государства распространяются только на действия, но не на мысли и суждения. Право на делиберацию и коммуникацию подданные такого государства полностью удерживают за собой:

> каждый поступился только правом действовать по собственному решению, а не правом рассуждать и судить о чем-либо; стало быть, и никто без нарушения права верховных властей не может действовать против их решения, но вполне может думать и судить, а следовательно, и говорить... [Там же, с. 227].

Попытки же установления идеократического контроля над обществом влекут за собой большие издержки, чреватые дестабилизацией всей государственной машины:

> законы, устанавливаемые относительно мнений, касаются не мошенников, но людей благородных, ... они издаются не для обуздания злодеев, но скорее для раздражения честных людей и не могут быть защищаемы без большой опасности для государства [Там же].

Это фундаментальное различие между мыслью и действием не совпадает со стандартным либеральным разделением на публичную и приватную сферы. Этим Спиноза хочет подчеркнуть, что противоречия между суверенными правами государств и индивидуальными свободами не существует. Но попытка противопоставить их друг другу как раз и содержит в себе опасное противоречие [Balibar, 2008, p. 27]. Стремление ограничить жизнь подданных областью приватного, передав публичную сферу в ведение «специалистов»

подрывает устойчивое существование политического тела [Арендт, 2011, с. 376]:

> неудивительно, что простому народу чужды истина и способность суждения, так как важнейшие дела государства ведутся втайне от него, и он делает догадки по тому немногому, что не удается скрыть, ... поэтому желать все вершить втайне от граждан и вместе с тем желать, чтобы их суждение об этом не было превратным и чтобы все не подвергалось толкованию в худшую сторону, есть верх нелепости [Спиноза, 2006b, с. 292–293].

Между тем «природа, однако, едина и обща всем» [Там же, с. 292]. Поэтому правители и управляемые друг от друга ничем не отличаются [Balibar, 2008, p. 70]. Ограничение коммуникации и распространения информации ведет к серьезным дисбалансам в системе. Именно поэтому в отличие от Гоббса суверен в схеме Спинозы не отделен от остального политического тела, но находится с ним в реципрокных отношениях. Как и Гоббс, Спиноза не признает никаких заранее данных носителей учредительной власти: нация в понимании «безбожного еврея» не предшествует конституции, пребывая, как у Сийеса, в ничем не ограниченном естественном состоянии, но является продуктом сложного исторического развития, это живая совокупность исторически сложившихся комплексов, суеверий и внутренних конфликтов. Это всегда уже некая конституция, но в материальном смысле:



> [Природа] ведь создает не нации, но индивидуумов, которые разделяются на нации, конечно, только вследствие различия в языке, законах и усвоенных нравах [Спиноза, 2006b, с. 234–35].

«Народ» или «нация» для Спинозы — это не нормативное, а историческое понятие. Возникает она по аналогии с изложенной в «Этике» теорией индивидуации [Спиноза, 2006a, с. 296–317]. Нация сама есть уже некий коллективный модус субстанции. Как в таком случае Спиноза определяет саму эту субстанцию политического? Следуя Гоббсу, состав политического тела Спиноза описывает в общих терминах, перечисляя через запятую такие синонимичные понятия, как plebs, vulgus, populus и, разумеется, multitudo (обычно переводимые как чернь, толпа, народ, а также массы и часто теперь употребляемое множество). Примечательно, однако, то, что в отличие от Гоббса он не вводит никаких специальных дистинкций между populus и multitudo. Более того, онтологически их не разделяет, как это происходит у Гоббса, непроницаемая граница общественного договора:

> Что касается политики, то различие между мною и Гоббсом ... состоит в том, что я всегда оставляю в силе естественное право [Спиноза, 2006b, с. 491].

Артикуляция же политического субъекта производится у Спинозы путем прямого материального конституирования:

> право верховной власти есть не что иное, как естественное право, но определяемое не мощью каждого в отдельности, а мощью народа (multitudinis), руководимого как бы единым духом, т. е. как отдельный человек в естественном состоянии, точно так же тело и дух (mens) всей верховной власти имеют столько права, сколько мощи (tantum juris habet quantum potentia valet) [Там же, с. 260].

Спиноза выстраивает радикальную трансформативную политическую онтологию, описывающую социальный порядок, не как неизменную величину, созданную договором, а как постоянно смещающуюся и проницаемую в обе стороны границу между естественным и гражданским состоянием. Государство в такой перспективе является адаптивным механизмом, увеличивающим мощь составляющих его множеств. Оно складывается из разницы потенциалов между безграничной мощью (potentia) тотальности, которую Спиноза именует Deus sive natura, и ограниченной мощью ее конечных модусов. Если представить себе некую радикальную трансформацию этих множеств, например, по причине обнаружения каких-либо их новых возможностей («того, к чему способно тело, до сих пор никто не определил»); пересмотра границ антропогенного мира («у лишенных разума животных замечается многое такое, что далеко превосходит человеческую проницательность»); открытия бессознательного («лунатики во время сна делают многое, на что не решились бы в бодрственном состоянии») или же появления технических изобретений, расширяющих способности человеческого тела («если бы нашелся кто, имеющий другие средства восприятия и другие основания познания, тот конечно, перешел бы границы человеческой природы»), то в этом случае ничто не мешает вообразить ситуацию, в которой государство может быть упразднено («отомрет», если использовать определение Ленина) и будет заменено некой новой, более эффективной формой политической общности [Там же, 2006a, сс. 337–338; 2006b, с. 235].

Спинозу не стоит записывать в политические революционеры. Как и другие его знаменитые современники, он интересовался не столько ниспровержением существующих порядков, сколько созданием и сохранением порядков дееспособных. Такой порядок гарантировал бы, с одной стороны, свободу мысли и самовыражения, а, с другой — сдерживал бы опасные аффекты множеств, которые, лишенные адекватного знания о действующих в них причинах, могли бы «спонтанно» стать добычей политических узурпаторов и тиранов, сражаясь «за свое порабощение как за свое благополучие» [Там же, с. 9]. Решение Спинозой этой дилеммы известно, хотя и не завершено:

установление omnino absolutum imperium, демократии: «общество может быть создано без всякого противоречия с естественным правом, а всякий договор может быть соблюдаем всегда с величайшей верностью, если, конечно, каждый перенесет на общество всю мощь, какую он имеет ... право такого общества называется демократией, которая поэтому определяется как всеобщее собрание людей, сообща имеющих верховное право на все, что они могут» [Там же, с. 181].

Последующие революции не смогли практически реализовать обнаруженную Спинозой формулу. Демократический элемент почти всегда оказывался слаб и безоружен. Однако теоретическая революция, произведенная самим Спинозой, несомненна — он вывел массы и их движения на передний край политики [Balibar, 2008, p. 38]. Считаться носителями имманентных им истин эмансипации они станут гораздо позже, в результате сложного теоретического и исторического развития. Сам Спиноза относился к своему открытию намного сложнее: массовые движения не обязательно ведут к свободе, их исход может быть совершенно иным, и собственный опыт философа стал тому подтверждением. В чем он, однако, был абсолютно уверен, так это в том, что массы пришли в политику надолго, и теперь необходимо адекватное познание управляющих ими аффектов, а суверен, сколь угодно жестокий и вооруженный какими угодно чрезвычайными полномочиями, не сможет стать абсолютным лекарством, регулирующим их правильное движение. Потому что, во-первых, он сам, не менее чем его подданные, может оказаться в их власти, а, во-вторых, слишком частое применение такого сильнодействующего средства может оказаться фатальным [Balibar, 1993].



## Вместо заключения

Когда сегодня возникает вопрос о том, что политическая теория может сказать о русской революции как о своей проблеме, то можно сказать, что подобная историческая генеалогия позволяет увидеть в ней практическое стремление ответить на вопросы, поставленные еще классиками.

Во-первых, это радикальная попытка решить проблему порядка. Ее радикализм характеризуется не только желанием избавить политическую мысль и политическое действие от фигуры «государства» (попытки их «деэтатизировать» случались и раньше), но и проектом пересмотра самой человеческой природы, предложением радикально новой антропологии. Здесь мы сталкиваемся со всеми вопросами теории порядка, сформулированными еще Гоббсом. Мы видим ограничения в определении учредительного субъекта через политическую артикуляцию и проблему суверенитета как неизбежно возникающей формы монополии на насилие, а также вопрос о граждан-

ской войне как о важной части события, учреждающего такой новый порядок. Во-вторых, это связанная с первым вопросом проблема коллективного выбора, осуществляемого массовыми движениями: всегда ли можно его описать как оптимальный и рациональный? Здесь навряд ли можно получить однозначный, а тем более позитивный ответ. Как эта амбивалентность поможет сохранить связь между массовым учредительным желанием свободы и необходимостью найти и сохранить демократические каналы его выражения? Политическая философия попыталась предложить свою версию ответа на этот вопрос: это абсолютная, ничем не опосредованная связь между imperium и multitudo, теоретически установленная Спинозой и практически проверенная русской революцией, хотя последняя убедительного решения предложить так и не смогла. Из второй проблемы вытекает третья: институты вновь учрежденного порядка.

В ходе революции эта проблема приняла форму ожесточенных дебатов по организационному вопросу (как совместить массовое желание свободы с политической организацией, ей неизбежно придется столкнуться с решением задач, которыми традиционно занималось государство). То, что организация — это не просто вопрос управления, но онтологии, было продемонстрировано историей революции и тупиками, вскрыть которые может помочь именно политическая теория, потому что искать ответы на поставленные ей вопросы революции пришлось фактически заново: об истоке власти, о суверенитете, об учреждении политического сообщества ex novo. Стоит этот вопрос и по сей день: сегодняшним движениям опять приходится решать проблему организации, но уже в ситуации выхода multitudo на глобальную сцену [Dean, 2016; Hardt, Negri, 2017]. Предлагаемые решения могут показаться совершенно новыми, но сопровождающие их противоречия пришли к нам даже не вчера. Так семнадцатый год встречается с XVII веком.



## Библиография

Альтюссер Л. (2006) *За Маркса*, М.: Праксис.

Арендт Х. (2011) *О революции*, М.: Европа.

Бри М. (2017) *Открыть Ленина снова. Диалектика революции vs. метафизика господства,* М.: RLS (Moskau); Логос.

Вебер М. (2003) *Политические работы (1895–1919)*, М.: Праксис.

Вебер М. (2007) *О России. Избранное*, М.: РОССПЭН.

Гоббс Т. (1989) *Сочинения. В 2 т.* Т. 1, М.: Мысль.

Дмитриев Т.А. (2017) Русская революция как опытное опровержение социализма: версия Макса Вебера. *Социологическое обозрение*, 16 (3): 88–110.

Дунаевская Р. (2011) *Марксизм и свобода, с 1776 года до наших дней*, М.: НПЦ «Праксис».

Кильдюшов О.В. (2016) Война и социальный порядок. Ultima ratio или conditio humana? *Полития*, 1 (80).

Кильдюшов О.В. (2016) Проблема социального порядка (Гоббсова проблема): к эвристике и прагматике конститутивного вопроса современной теории общества. *Социологическое обозрение*, 15 (3): 122–149.

Ленин В.И. (1960) *Собр. соч.* Т. 11, М.: Политиздат.

Ленин В.И. (1969a) *Собр. соч.* Т. 37, М.: Политиздат.

Ленин В.И. (1969b) *Собр. соч.* Т. 33, М.: Политиздат.

Ленин В.И. (1973) *Собр. соч.* Т. 30, М.: Политиздат.

Лукач Г. (2003) *История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике*, М.: Логос-Альтера.

Лукач Д. (1990) *Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей*, М.: Международные отношения.

Люксембург Р. (1991) *О социализме и русской революции*, М.: Политиздат.

Макьявелли Н. (2006) *Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия*, М.: АСТ.

Скочпол Т. (2017) *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*, М.: Изд-во Института Гайдара.

Спиноза Б. (2006a) *Сочинения*. В 2 т. Т. 1, Спб.: Наука.

Спиноза Б. (2006b) *Сочинения*. В 2 т. Т. 2, Спб.: Наука.

Сталин И.В. (1950) *Об основах ленинизма. К вопросам ленинизма*, М.: Госполитиздат.

Троцкий Л.Д. (1997) *История русской революции.* В 2 т. *Т. 1: Февральская революция*, М.: Терра; Республика.

Филиппов А.Ф. (2005) Техника диктатуры. Шмитт К. *Диктатура*, СПб.: Наука: 277–322.

Филиппов А.Ф. (2006) Критика Левиафана. Шмитт К. *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса*, СПб.: Владимир Даль: 5–104.

Филиппов А.Ф. (2009a) Актуальность философии Гоббса. Статья первая. *Социологическое обозрение*, 8 (3): 102–112.

Филиппов А.Ф. (2009b) Актуальность философии Гоббса. Статья вторая. *Социологическое обозрение*, 8 (3): 113–122.

Филиппов А.Ф. (2018) *Философия диктатуры: старые источники и новые вопросы. В.И. Ленин и К. Шмитт: очная ставка спустя столетие*. (http://gefter.ru/archive/24515?_utl_t=fb)

Хабермас Ю. (2005) *Политические работы*, М.: Праксис.

Шмитт К. (2005) *Диктатура*, СПб.: Наука.

Шмитт К. (2006) *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса*, СПб.: Владимир Даль.

Agamben G. (2015) *Stasis: Civil War as a Political Paradigm*, Stanford: SUP.

Althusser L. (2000) *Machiavelli and Us*, London: Verso.

Anweiler O. (1974) *The Soviets: The Russian Workers, Peasants and Soldiers Councils*, 1905–1921, N.Y.: Pantheon Books.

Balibar E. (1977) *On the Dictatorship of the Proletariat*, London: NLB.

Balibar E. (1993) *Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy Before and After Marx*, New York: Routledge.

Balibar E. (2008) *Spinoza and Politics*, London: Verso.

Buck-Morss S. (2000) *Dreamworld and Catastrophe*: The Passing of Mass Utopia in East and West, Massachusetts: MIT Press.

Dean J. (2016) *Crowds and Party*, London: Verso.

Habermas J. (1973) *Theory and Practice*, Boston: Beacon Press.

Hardt M., Negri A. (2017) *Assembly*, N.Y.: Oxford University Press.

Lazarus S. (2007) Lenin and the Party, 1902–November 1917. S. Budgen, S. Kouvelakis, S. Zizek (eds) *Lenin Reloaded*, Durham: Duke University Press: 255–268.

Negri A. (1991) *The Savage Anomaly: The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Negri A. (2014) *Factory of Strategy: Thirty-Three Lessons on Lenin*, N.Y.: Columbia University Press.

Negri A. (2014), *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.

Pockock J.G.A. (1975) *The Machiavellian Moment*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Yurchak A. (2015) Bodies of Lenin: The Hidden Science of Soviet Sovereignty, *Representations*, (129): 116–157.



## References

Agamben G. (2015) *Stasis: Civil War as a Political Paradigm*, Stanford: SUP.

Althusser L. (2000) *Machiavelli and Us*, London: Verso.

Althusser L. (2006) *Za Marksa [For Marx]*, Moscow: Praksis.

Anweiler O. (1974) *The Soviets: The Russian Workers, Peasants and Soldiers Councils*, 1905–1921, New York: Pantheon Books.

Arendt H. (2011) *O revoliutsii [On Revolution]*, Moscow: Evropa.

Balibar E. (1977) *On the Dictatorship of the Proletariat*, London: NLB.

Balibar E. (1993) *Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy Before and After Marx*, New York: Routledge.

Balibar E. (2008) *Spinoza and Politics*, London: Verso.

Brie M. (2017) *Otkryt' Lenina snova. Dialektika revoliutsii vs. metafizika gospodstva [Opening Lenin Again. Dialectics of revolution vs. metaphysics of domination]*, Moscow: Logos.

Buck-Morss S. (2000) *Dreamworld and Catastrophe*: *The Passing of Mass Utopia in East and West*, Massachusetts: MIT Press.

Dean J. (2016) *Crowds and Party*, London: Verso.

Dmitriev T. (2017) Russkaia revoliutsiia kak opytnoe oproverzhenie sotsializma: versiia Maksa Vebera [The Russian Revolution as an Experimental Refutation of Socialism: Max Weber's Version]. *Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 16 (3): 88–110.

Dunayevskaya R. (2011) *Marksizm i svoboda, s 1776 goda do nashikh dnei [Marxism and Freedom, From 1776 Until Today]*, Moscow: Praksis.

Filippov A. (2005) Tekhnika diktatury [Technology of Dictatorship]. Schmitt C. *Diktatura [Dictatorship]*, Sankt-Petersburg: Nauka.

Filippov A. (2006) Kritika Leviafana [Critique of Leviathan]. Schmitt C. *Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbsa [The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes]*, Sankt-Petersburg: Vladimir Dal'.

Filippov A. (2009a) Aktual'nost' filosofii Gobbsa. Stat'ia pervaia [The relevance of Hobbes philosophy. Article One]. *Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 8 (3): 102–112.

Filippov A. (2009b) Aktual'nost' filosofii Gobbsa. Stat'ia vtoraia [The relevance of Hobbes philosophy. Article Two]. *Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 8 (3): 113–122.

Filippov A. (2018) *Filosofiia diktatury: starye istochniki i novye voprosy. V.I. Lenin i K. Shmitt: ochnaia stavka spustia stoletie [Philosophy of dictatorship: old sources and new questions. Vladimir Lenin and Carl Schmitt: confrontment a century after].* (http://gefter.ru/archive/24515?_utl_t=fb)

Habermas J. (1973) *Theory and Practice*, Boston: Beacon Press.

Habermas J. (2005) *Politicheskie raboty [Political Writings]*, Moscow: Praksis.

Hardt M., Negri A. (2017) *Assembly*, New York: Oxford University Press.

Hobbes T. (1989) *Sochineniia.* V. 1 [De Cive], Moscow: Mysl'.

Kil'diushov O. (2016) Problema sotsial'nogo poriadka (Gobbsova problema): k evristike i pragmatike konstitutivnogo voprosa sovremennoi teorii obshchestva [The Problem of Social Order (a Hobbesian Problem): Towards the Heuristics and Pragmatics of the Constitutive Question of Contemporary Social Theory]. *Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]*, 15 (3): 122–149.

Kil'diushov O. (2016) Voina i sotsial'nyi poriadok. Ultima ratio ili conditio humana? [War and Social Order. Ultima ratio or conditio humana?]. *Politiia [Poleteia]*, 1 (80): 6–32.

Lazarus S. (2007) Lenin and the Party, 1902–November 1917. S. Budgen, S. Kouvelakis, S. Zizek (eds) *Lenin Reloaded*, Durham: Duke University Press: 255–268.

Lenin V.I. (1960) *Sochineniia.* V. 11 *[The Boycott of the Bulygin Duma and Insurrection]*, Moscow: Politizdat.

Lenin V.I. (1969a) *Sochineniia.* V. 37 *[The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky]*, Moscow: Politizdat.

Lenin V.I. (1969b) *Sochineniia.* V. 33 *[The State and Revolution]*, Moscow: Politizdat.

Lenin V.I. (1973) *Sochineniia.* V. 30 *[Lecture on the 1905 Revolution]*, Moscow: Politizdat.
Lukach G. (2003) *Istoriia i klassovoe soznanie. Issledovaniia po marksistskoi dialektike [Lukacs G. History and Class Consciousness]*, Moscow: Logos-Al'tera.

Lukacs G. (1990) *Lenin. Issledovatel'skii ocherk o vzaimosviazi ego idei [Lenin. A study on the unity of his thought]*, Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Luxemburg R. (1991) *O sotsializme i russkoi revoliutsii [Writings on Socialism and the Russian Revolutions]*, Moscow: Politizdat.

Makiavelli N. (2006) *Gosudar'. Rassuzhdeniia o pervoi dekade Tita Liviia [The Prince. Discourses on Livy]*, Moscow: AST.

Negri A. (1991) *The Savage Anomaly: The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Negri A. (2014) *Factory of Strategy: Thirty-Three Lessons on Lenin*, New York: Columbia University Press.

Negri A. (2014) *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.

Pockock J.G.A. (1975) *The Machiavellian Moment*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Schmitt C. (2005) *Diktatura [Dictatorship]*, Sankt-Petersburg: Nauka.

Schmitt C. (2006) *Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbsa [The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes]*, Sankt-Petersburg: Vladimir Dal'.

Skocpol T. (2017) *Gosudarstva i sotsial'nye revoliutsii: sravnitel'nyi analiz Frantsii, Rossii i Kitaia [States and Social Revolutions]*, Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara.

Spinoza B. (2006a) *Sochineniia [Works. V. 1]*, Sankt-Petersburg: Nauka.

Spinoza B. (2006b) *Sochineniia [Works. V. 2]*, Sankt-Petersburg: Nauka.

Stalin J. (1950) *Ob osnovakh leninizma. K voprosam leninizma [The Founations of Leninism. Concerning Questions of Leninism]*, Moscow: Gospolitizdat.

Trotsky L. (1997) *Istoriia russkoi revoliutsii. V. 1: Fevral'skaia revoliutsiia [The History of the Russian Revolution]*, Moscow: Terra/Respublika.

Weber M. (2003) *Politicheskie raboty (1895–1919) [Political Writings 1895–1919]*, Moscow: Praksis.

Weber M. (2007) *O Rossii. Izbrannoe [Selected Writings on the Russian Revolutions]*, M.: ROSSPEN.

Yurchak A. (2015) Bodies of Lenin: The Hidden Science of Soviet Sovereignty. *Representations* (129): 116–157.



**Рекомендация для цитирования/For citations:**

Фетисов М.С. (2017) Политическая теория и онтология революции: Ленин, Гоббс и Спиноза. *Социология власти*, 29 (4): 8–35.

Fetisov M.S. (2017) Political theory and ontology of the revolution: Lenin, Hobbes and Spinoza. *Sociology of Power*, 29 (4): 8–35.

Поступила в редакцию: 07.11.2017; принята в печать: 09.12.2017